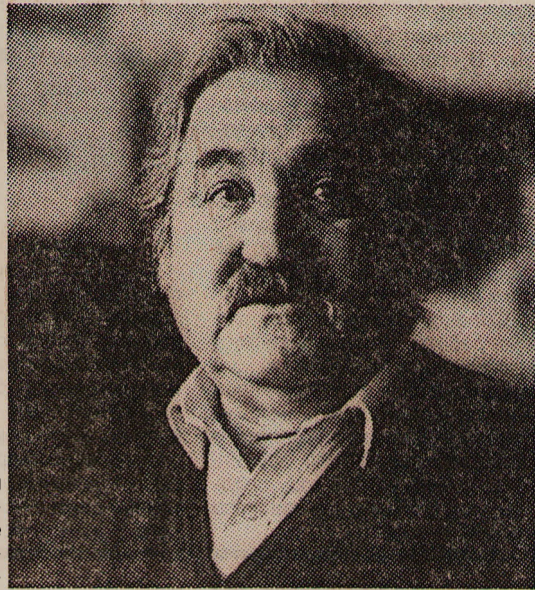


**Генрих САПГИР:**

# ЕСЛИ Я И ПУГАЛСЯ, ТО ОБЫЧНО ЗАДНИМ ЧИСЛОМ

Трещ. - 1997. - 29 ноябр. - с. 5.

**Генрих Сапгир — можно сказать, классик детской литературы, автор сценариев к многим популярным мультфильмам. Меньше знают о Сапгире — авторе многих “взрослых” стихотворений и рассказов. Неистощимая веселая фантазия, неожиданные повороты темы, гротеск, ирония, юмор, зоркость бытописателя и воображение фантаста, а главное, неиссякающие удивление и интерес к жизни, обычно свойственные именно детям, — все это присуще произведениям Сапгира. Творческий путь писателя не был безоблачным: его не принимали в Союз писателей, многие его произведения распространялись только в самиздате или публиковались за границей. Лишь в последние годы Сапгир — поэт и прозаик стал активно печататься на страницах периодики, появилось несколько его книг. Недавно в издательстве “Новое литературное обозрение” вышла, пожалуй, самая представительная книга стихов и прозы Сапгира “Летающий и спящий”.**



— Генрих, кто вы все-таки — поэт или прозаик?

— Я себя с удовольствием называю старинным и благородным словом “литератор”, потому что говорить про себя “поэт”, в силу ли особенностей русского языка, некоей ли традиции, — как-то, мне кажется, нескромно. Даже Бродский признавался, что эжится, когда его называют поэтом. А литератор — это прежде всего профессионал, я себя отношу именно к этой категории.

— Вы могли бы выделить какие-то вехи в своем творчестве?

— Пожалуй. До тридцати лет я был поэтом, которого не очень устраивало то, что он делает. Писать я начал лет с шестнадцати-семнадцати. Из того периода у меня оставалась одна книга, все остальное я потом уничтожил. Книга называлась “Земля”. Написана она была в духе сурового акмеизма. Здесь была радость жизни и любовь к литературе. Но я искал что-то более близкое к современности. И в 1958 году почувствовал, что произвел сдвиг. Предвестием была крошечная поэма “Бабушка деревня”. Я всегда понимал, что надо писать о том, что видишь вокруг, а не романтическую условность, но у меня не получалось. К тому времени я вернулся из армии с Урала, где служил в стройбате на атомной стройке. Так как я был техниконормировщиком, то у меня даже был отдельный кабинет, где я подчас и ночевал, и была возможность писать стихи, жизнь была вполне вольготная. Стихи же были про заключенных, которые работали вместе со мной. Я искал собственный ключ к современности. Когда же было написано стихотворение “Голоса”, начинавшееся строкой “Вон там убили человека...”, я понял: вот оно!.. Отсюда, в сущности, все и началось.

— То есть это уже было не просто самовыражение?

— Да, я услышал, что все вокруг говорит. Я почувствовал, что реальность искажена, деформирована, сдвинута. И мне захотелось такой ее изображать. И вот на рубеже шестидесятых была написана книга “Голоса”, состоявшая из 70 стихотворений. Я почувствовал, что нашел себя настоящего.

— А какие задачи вы еще перед собой ставили?

— Важнейшая задача была: как можно меньше авторского, никого не учить, не ныть, не переживать... Никакого надрыда, никакой некрасовщины! Слишком серьезной и суровой была жизнь. Это до революции можно было, а теперь никого такие сантименты не трогали. Потом я написал промежуточную книгу “Молчание”, где уже почувствовал, что могу очень свободно обращаться со стихом, разрывать его вдоль и поперек,

оставлять неоконченными слова... Это был 1963 год. Следом были “Люстичи” — любовные стихи, “Псалмы”... В этих книгах и было, по сути, найдено то, что я пытался развивать дальше и с чем мне было интересно работать.

— Было ли еще что-то, что вам помогло в этом?

— Скорее всего, то, что я всю жизнь дружил с художниками: Сидуром, Эрнстом Неизвестным, Михаилом Герасимовым, ходил к Фальку и гениальному акварелисту Фонвизину. Благодаря этому я рано узнал, что такое поп-арт. Что можно оторвать кусок картонки и приклеить к холсту. И я использовал коллаж, но не так, как некоторые другие писатели. Просто наклеить или соединить один текст с другим — ничего не даст. Коллаж должен работать, а для этого должен быть деформирован в сторону той идеи, которую выражает само произведение. Пробовал я писать и коллажную сюрреалистическую прозу. Брал куски из “Нового мира”, куски из энциклопедии, нанизывал это на один стержень, каким становился герой, и у меня получался рассказ. Но для прозы требовалось больше времени, сосредоточенности, а жизнь в молодости была моторная, особенно в богемной среде: встречи, обсуждения, выпивки, влюбленности...

— Вы сказали про написанное вами в те годы: книги. Но ведь все это не было опубликовано... И вообще на что вы существовали?

— Все получилось само собой. Однажды мы куда-то ехали с одним из моих старших друзей — Борисом Слуцким, который, ткнув в меня пальцем, сказал комиссарским тоном (он всегда так говорил): вы, Генрих, формалист, и вас отлично должны получаться детские стихи. И познакомил меня со своим другом Юрием Тимофеевым, главным редактором издательства “Детский мир”, впоследствии “Малыш”. Со мной заключили договор, даже не видя написанного. Таким образом я стал официально поэтом для детей. Я стал лучше жить, меня приняли в Союз кинематографистов...

— Почему кинематографистов?

— А это особая статья. В Союз писателей меня тоже почти приняли, но билет так и не выдали. Вообще я оказался участником нескольких литературных скандалов. Первый — с “Синтаксисом” Алика Гинзбурга. За этот журнал его потом посадили. Был 1959 год, “оттепель”. Давление тоталитарной плиты ослабло, под нее стал проникать свежий воздух, и многие начали понимать, что нужно писать по-новому. “Оттепель” выдвинула левых реалистов, импрессионистов, деревенщиков — с

ними советская власть примирилась. С нами же — модернистами, авангардистами и т.п. — главномерно велась борьба, потому что власть не могла принять ту правду, которая сквозила в наших работах. Не правду изображения, а правду чувствования, которое было трагичней того, что изображалось. Алик Гинзбург напечатал и левых писателей, и нас, модернистов. Был скандал. Но я тогда еще никуда не поступал, нигде не состоял, так что и исключить меня ниоткуда не могли...

— А второй?

— Второй случился, когда кончилась “оттепель”. А она, с моей точки зрения, кончилась не когда сняли Хрущева, а когда наши танки вошли в Чехословакию. В 1968 году формально меня приняли в Союз писателей и даже поручили работу с молодыми. Я это наивно понял так, что нужно привести своих друзей и дать возможность выступить, устроить выставку друзей-художников. Что я и сделал. Устроил выставку, привел моих друзей-смогистов (было такое литературное движение), молодых ребят восемнадцати-девятнадцати лет. Сергей Михалков, тогда один из литературных начальников, заглянул в нашу комнату номер восемь над рестораном в ЦДЛ, где как раз читал свои стихи мой ученик Наум Олев. А читал он, надо сказать, с выражением: “Засрели двор! Застроили сараями...” Михалков был в ужасе. Как сейчас помню его вытянувшееся, побледневшее лицо. Затеялась возня, которая была поддержана доносом на меня какого-то писателя, и мне не выдали билет. Меня отчаянно защищал глава детской секции Лев Кассиль. Тогдашний ответственный секретарь Союза писателей, генерал КГБ Ильин обвинил меня в том, что я пишу порнографические стихи. Кассиль возражал ему, что и Пушкин писал подобные стихи. “Но то Пушкин!” — кричал Ильин, воздевая десницу. Конечно, было обидно, что не приняли. Ведь членство в Союзе писателей — это уже был чин. Не меньше майора. А в Союзе кинематографистов, тогда только что возникший, я попал, поскольку писал сценарии к мультфильмам.

— О третьем скандале я догадываюсь. “Метрополь”...

— Совершенно верно, “Метрополь”. 1979 год. Не я затеял это дело, но с удовольствием принял предложение поэта Евгения Рейна участвовать в новом альманахе. Так получалось, что если я и пугался чего-то, то обычно задним числом. А скандал был серьезный. Мое имя отовсюду пови-

черкивали, не давали работы...

— Вас это травмировало?

— Конечно, не радовало. Но не настолько, чтобы внутренне перемениться. Мне кажется, такого рода бури на человека, который упрямо стоит на своем, не могут подействовать глубоко. Хотя, бывало, люди ломались.

— Сейчас многие писатели жалуются на свое положение, на неустойчивость. У вас есть это чувство?

— С точностью до наоборот, как говорится. Я всегда чувствовал себя маргиналом, свое социальное положение не отделял от положения какой-нибудь дворничихи, которая убирает двор, от рабочего, таскающего мешки... Был таким же незащищенным, как и они. Я это понял еще тогда, когда служил в армии. И это у меня оставалось до последнего времени. Только теперь я по-настоящему почувствовал, что свободен. И пишу гораздо больше, чем раньше. Я счастлив, как и многие мои друзья, что дожил до этого. Мы-то думали, что советский рейх будет тысячелетним, да вот фундамент оказался халтурный... Так что мы живем в великое время и являемся свидетелями необычайного.

— А не вы ли говорили всего года два назад, что ходите по Москве с закрытыми глазами?.. Вас задевала чужая беда?

— Еще раз повторяю: я рад, что в России произошли такие кардинальные перемены. Но делается не все так быстро, как хотелось бы. И был момент, когда во все щели полезло то, что раньше старательно укрывалось, вся наша настроенность, нищета, несчастные люди, которых гоняли, чтобы выглядело прилично. Сегодня, кажется, все начинает медленнее, но налаживаться. В конце концов, разве не хочется всем жить в обустроенном, чистом, спокойном доме? И на это есть надежда.

— Не жалеете ли вы о чем-нибудь, что, скажем, могли бы сделать, но не сделали по той или иной причине? Или, напротив, сделали, а могли бы не делать?

— Единственное, о чем я жалею, так это о том, что собственно писателем стал только в начале 90-х годов, когда начал писать прозу. Я вдруг понял, что в общем-то большой разницы между стихами и рассказами нет, что ритм в рассказе просто более длительный, и если там строка, то здесь абзац. Одни и те же законы управляют этими двумя родами литературы. Стихи — это более волевое нача-

ло. А прозу надо просто слушать. Я стараюсь ничего от себя не придумывать. Просто сажусь и слушаю, что во мне происходит и что мне кто-то диктует. Теперь я знаю, как это делать. И мне хочется написать вещи побольше. Есть некоторая внутренняя задача, есть идея вещи, которую ощущает художник, и вот она должна получить свое воплощение...

— Вы органичный человек? Ничего не делали специально, не ставили перед собой никаких внешних целей, а только старались следовать своему внутреннему чувству?..

— Думаю, да. Дело в том, что при всей пестроте и разнообразии жизни, при множестве соблазнов, а нельзя сказать, что я им не уступал, все-таки что-то мне помогало, какое-то внутреннее чувство правды, правоты, — что я должен держаться именно этого и не сходить со своего пути. Я ведь мог уехать, но у меня даже мысли об этом не возникало, хотя моя жизнь здесь не была особенно сытной и комфортной. Но зато я никогда не был одинок. У меня были друзья, а ведь некоторым писателям приходилось биться с той действительностью, довольно жестокой, в одиночку.

— То есть у вас была среда...

— Да, была среда — артистическая, богемная, она не давала заболеть моему самолюбию, покрывалась плесенью, ядовитыми цветочками всеотрицания. И потом было удовлетворение от работы: в конце концов у меня получалось, с большим или меньшим трудом, и это уже была награда. У меня была литературная работа, вполне уважаемая: я писал для детей... Хотя другие мои произведения этому мешали — даже прохождению моих книг для детей. Куратор “Детгиза” (а у каждого издательства был свой кэзбешный куратор) относился ко мне настороженно, меня придерживали, хотя запрета тоже не было.

— Для вас что-нибудь значит успех? Ведь сегодня вас вполне можно назвать писателем, который пользуется спросом. Вас охотно печатают в периодике, у вас выходят книги...

— Если бы это было на лет двадцать — тридцать раньше, было бы здорово. Но не считите за наглость, совершенно точно знаю, что я еще не раскрытый, недооцененный писатель. Что могу сделать то, чего не делал раньше. А вообще я никогда не думал о читателе. Так что рассчитывать на широкую популярность не приходилось, как бы себя ни оценивал. Это было бы иллюзией. Да я и не жду ничего.

— Вас совсем не волнует оценка со стороны?

— Я этого не сказал. Каждый художник хочет, чтоб его оценили. Но любое дело по-настоящему оценивается только знатоками этого дела.

— Совсем недавно вышла новая книга, наиболее полно представляющая ваше творчество последнего времени. Своего рода избранное. Что она для вас значит?

— Для меня это, несомненно, праздник, который еще длится. Здесь спрессовалось несколько лет, целый период. В книге получили выражение и развитие некоторые важные для меня идеи и состояния. Меня давно уже интересуют такие вещи, как, например, пустота. Я вижу полноту пустоты. Я понимаю, что наряду с человеческим есть нечеловеческое, вневещное, к человеческому никакого отношения не имеющее. Именно во включенных в книгу вещах мне удалось коснуться этих тем. Я вижу, что мог бы пройти дальше туда, осмотреться в новом для меня пространстве. Эта книга для меня очень важна. Она завершает нечто и открывает для меня новое.

Беседу вел Евгений ШКЛОВСКИЙ.